

В. Ю. Малягин
Детям о Христе. Рассказы
и стихи русских писателей

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2827765

Детям о Христе. Рассказы и стихи русских писателей: Даниловский благовестник; М.; 2008

ISBN 978-5-89101-240-0

Аннотация

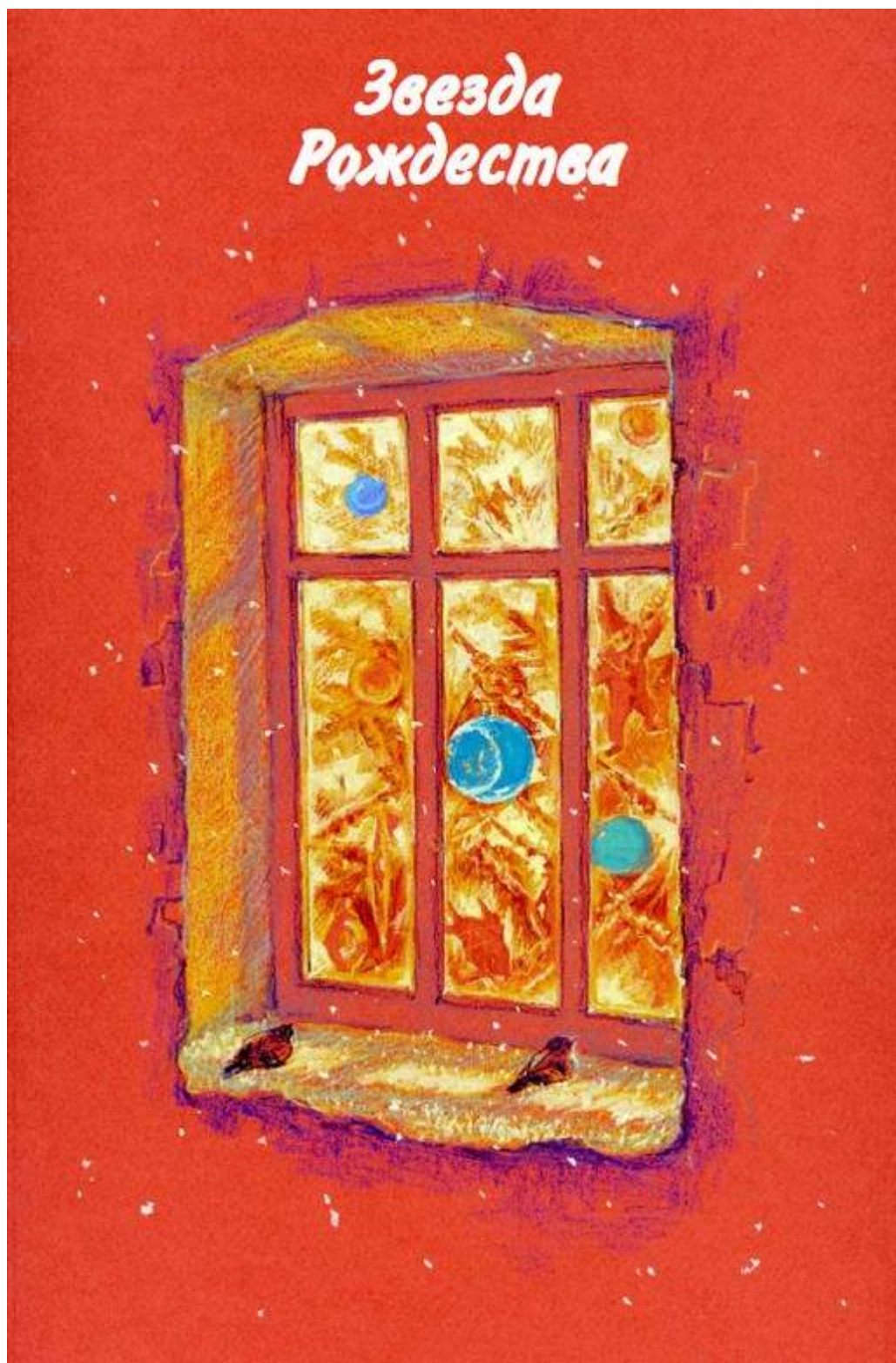
Русская классическая литература в своих лучших образцах всегда была пронизана светом Христовым. Рассказы и стихи прозаиков и поэтов XIX–XX веков, посвященные Пасхе и Рождеству, молитве к Богу и милосердию к ближнему – это не только совершенные художественные произведения. Это еще и – настоящая христианская проповедь, которая лучше всяких слов свидетельствует о духовной основе всякого подлинного творчества, о непобедимом стремлении человеческой души – к Богу...

Иллюстрации художника Валентины Стрельниковой.

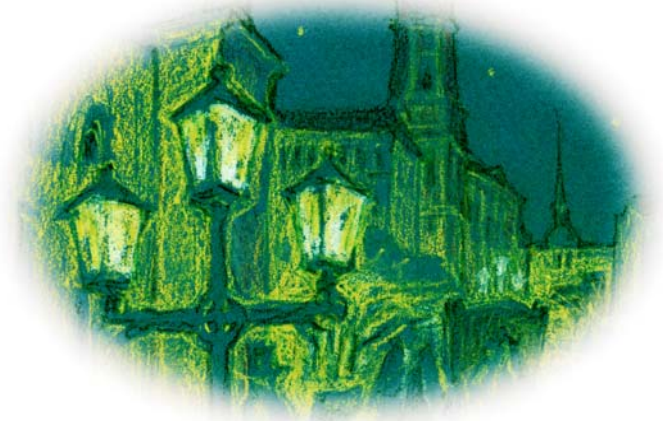
Содержание

Ф.М. Достоевский	5
Н.С. Лесков	8
Н.Д. Телешов	21
А.И. Куприн	27
И.А. Бунин	34
И.С. Шмелев	37
С.Т. Аксаков	43
А.П. Чехов	49
В.А. Никифоров-Волгин	52
В.А. Никифоров-Волгин	56
И.С. Шмелев	60
Стихи русских поэтов	69
Оптинский старец, преподобный Варсонофий	70
Александр Пушкин	71
Михаил Лермонтов	72
Михаил Лермонтов	73
Алексей Толстой	74
Алексей Толстой	75
Иван Никитин	77
Федор Тютчев	78
Афанасий Фет	79
А. Коринфский	80
Яков Полонский	82
Странник (Архиепископ Иоанн Шаховской)	83
Александр Блок	84
Александр Блок	85
Владислав Ходасевич	86
К.Р.	87
К.Р.	88
Иван Бунин	89
Иван Бунин	90
Иван Бунин	91
Владислав Ходасевич	92
Владимир Набоков	93
Максимилиан Волошин	95
Митрополит Владимир (Сабодан)	96
Александр Солодовников	97
Александр Солодовников	99
Григорий Зобин	100
В. Серебряков	101
Евгений Санин	103
Евгений Санин	104
Геннадий Архипов	105
Сергей Кликов	106

Детям о Христе. Рассказы и стихи русских писателей



Ф.М. Достоевский Мальчик у Христа на елке (из «Дневника писателя»)

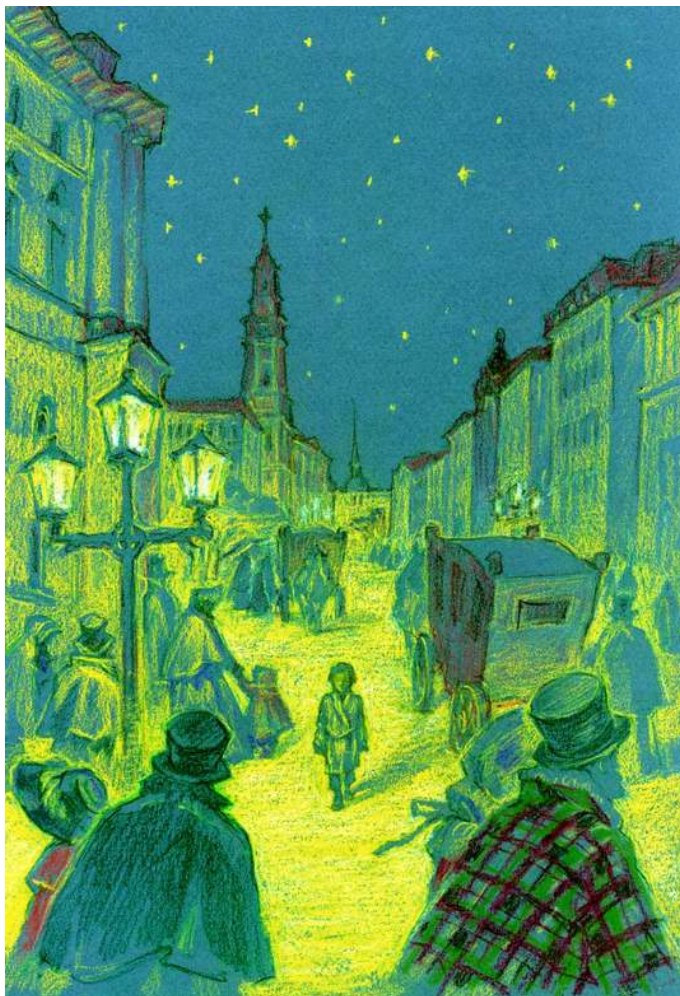


Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно: это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни

подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поест, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.



Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворится дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копейчку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копейчка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие,

разодетые в красные и зеленые платица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он Сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Н.С. Лесков Зверь (из цикла «Святочные рассказы»)



Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, – мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башней, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «эолова арфа». Когда ветер пробежал по струнам этого своеобразного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные,

столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царил безотраднейшая унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этим собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладеть целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставившиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.



За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферাপонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навывкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленным и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такую привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих

зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смиренно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Отбирать «смышленного медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал *по бревну*) на поляну, и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подростками щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером¹, и, прицелясь «с сошки»², посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи, или медвежьей казни, не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, *матерым* медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона³ или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиньим пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоуценки⁴ он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему

¹ *Штуцер* — охотничье ружье; Кухенрейтеры, Иоганн-Андрей и Кристоф – немецкие оружейники начала XVIII в.

² *Сошка* — подставка для ружья при стрельбе с упора.

³ *Грифон* — порода легавых собак.

⁴ *Первоуценка* — первая работа ученика.

за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – *на казнь*...

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

– Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слышать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

– Слава Богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фракке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над

затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферापонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокаивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге⁵.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божии создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стремennых держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною медвежьей шкурою с пахвами⁶ и паперсями⁷, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

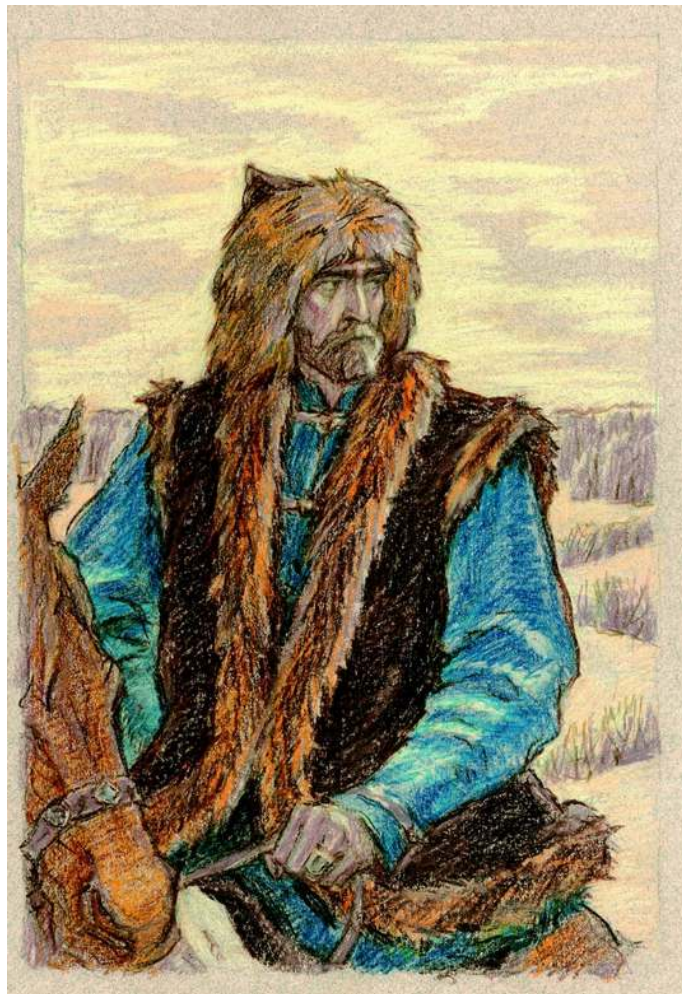
⁵ См. Бытие, гл. 7.

⁶ *Паква* — ремень, идущий от задней луки седла, не позволяющий ему скатываться вперед.

⁷ *Паперсь* — конский нагрудник, не позволяющий седлу скатываться назад.

Тайников этих не было видно, и на некоторые указывали только едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников⁸, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские штрабусы, немецкие моргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты⁹.



Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака¹⁰ на вальтрап¹¹ белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

⁸ *Вершник* — всадник.

⁹ *Шведские штрабусы... варшавские колеты* — ружья, названные по имени создавших их оружейников.

¹⁰ *Орчак* — каркас седла.

¹¹ *Вальтрап* — мягкая подстилка, которая кладется на седло.

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделились человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издали нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке¹² для подвоза корма с гуменика, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и наторчив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удалы, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался.

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю...

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, кото-

¹² Ворок — скотный двор, загон.

рою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из твора ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил *не один*: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в аванжном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из подмышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьавки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сырмятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре¹³ к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленного, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пьавки достигли его, и одна из них со всего налета впиалась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьавка хотела перехватить зубами, чтобы впитаться еще глубже, он рванул ее лапою и

¹³ *Одр* — здесь: телега, повозка.

бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапой, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль Бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится расшвирипевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнился с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замёт¹⁴, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крикнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навывлет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкой были слишком тесно скучены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее – *Сганарель ушел*. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ – завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Феропонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услышал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

– Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

¹⁴ *Замёт* — снежный сугроб, куча снега.

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкой, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.



Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос раждается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «срящите»¹⁵ и «возноситесь», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о *даре*, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднести к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирену и ливан волхвы древности¹⁶. Дар наш – наше сердце, исправленное по *Его* учению¹⁷. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит,

¹⁵ *Рящите* (церковнослав.) – встречайте.

¹⁶ См. Евангелие от Матфея 2:1–11.

¹⁷ См. Евангелие от Луки 8:15.

все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *он плакал!*

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

– Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

– Встань... поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превошел меня в великодушии.

Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.

– Что?

– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.

– Чего же ты хочешь?

– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава Вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христова, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

– У нас ноне так случилось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «*укротитель зверя*».

Н.Д. Телешов Елка Митрича



Был канун Рождества...

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышинная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

– Ну баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

– Слышь, баба, – повторил Митрич. – Говорю, какую я штуку надумал!

– Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! – ответила жена, указывая на углы. – Вишь, пауков развели. Пошел бы да смел!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

– Паутина не уйдет; смету... А ты, слышь-ка, баба, что я надумал-то!

– Ну?

– Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

– Я говорю, баба, вот что, – начал он бойко, но сейчас же запнулся. – Я говорю, праздник подходит... И для всех он праздник, все ему радуются... Правильно, баба?

– Ну?

– Ну вот я и говорю, все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет, – правильно?

– Так что ж? – равнодушно сказала старуха.

– А то, – вздохнул снова Митрич, – что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое – всякому человеку радость, а сироте – ничего!

– Тебя, видно, не переслушаешь, – махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

– Надумал я, баба, вот что, – говорил он, улыбаясь, – надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко... срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устройю, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.

– Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

– Нет, каков, баба, умысел, а?

– А ну те с твоим умом! – крикнула она на мужа. – Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.

– Ладно, баба! – проговорил он загадочно. – Вот устройю потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю – и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

– Видно, делать-то тебе нечего.

– Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устройю – и устройю! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы... С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их было так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле малопомалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

– Вот уж непорядок, так непорядок! – рассуждал Митрич, пожимая плечами. – Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

– Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

– Как тебя звать?

– Фомка.

– Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

– Ну, отца как зовут?

– Тятка.

– Знаю, что тятка... А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

– Тятка.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

– Родителей-то, знать, потерял, дурачок? – говорил он, глядя ребенка по голове. – А ты кто такой? – обращался он к другому ребенку. – Где твой отец?

– Помер.

– Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

– Померла.

– Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами.

У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» – называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он выдывал у богатых людей.

«Сказано, сделаю – и сделаю! – думал он, идя по двору. – Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

– Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

– Что такое?

– Прикажете выдать горсточку огарков... самых махоньких... Потому как сироты... ни отца, ни матери... Я, стало быть, сторож переселенский... Восемь сироток осталось... Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

– На что тебе огарки?

– Удовольствие хочется сделать... Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

– Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? – проговорил он, продолжая качать головой. – Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

– Ведь огарочки, Никита Назарыч...

– Ступай, ступай! – махнул рукою староста. – И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

– Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: Божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

– Какой же тут грех?

– А Никиту Назарыча слышал? – спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. – То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

– Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!

– А каких тебе огарков-то?

– Да все одно... хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери... Прямо – ничьи ребяташки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник.

«Ну, теперь ладно! – весело думал Митрич. – Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, – рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, – стало быть, восемь конфет...»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

– Ладно, баба! – подумал он вслух. – Ты у меня посмотришь! – и, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

– Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздалась дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, расстрогался.

– Ах вы, публика-публика!.. – шептал он, утирая глаза и улыбаясь. – Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запущены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя – водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

– Ну, публика, теперь смирно! – говорил он, устанавливая елку. – Вот маленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

– Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

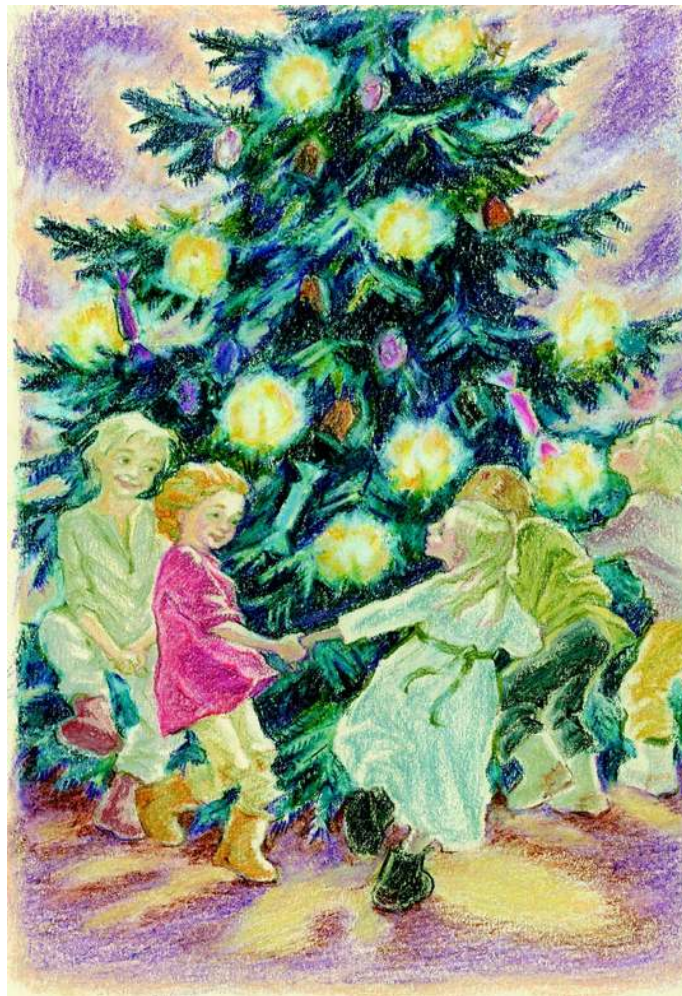
Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели... Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.

Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

– Ну-ка, ты, кавалер! – обратился он к мальчику, стоя на табуретке. – Давай-ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

– И я! И я! – слышались голоса.

– Ну и ты, – согласился Митрич. – Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое... А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите... Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?



Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

– А ведь... жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

– Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

– Гм! – рассуждал он, бродя по двору. – Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

– А что? – сказал он себе. – Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Вышло как будто «правильно»...

– Детишки они малые... ничего не смыслят, – рассуждал старик. – Ну, стало быть, будем мы их забавлять... А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И не долго думая Митрич решил. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

– Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! – весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ай да затейник!

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленным воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

– Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

*Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики, —
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!*

– Ну, баба, теперь закусим! – сказал Митрич, кладя гармонику. – Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы, и наконец, скомандовал:

– Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

– Каков, баба, я-то? – спрашивал он, указывая на детей. – Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

*Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!*

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не понимал, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этаким праздником.

– Публика! – воскликнул он, наконец. – Свечи догорают... Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

– Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать, правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей».

Елку Митрича никто из них не забудет!

А.И. Куприн Чудесный доктор



Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-Богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую, оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того, как шли мальчишки, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разряженные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрезкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчишки вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчишки молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сильным от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну, а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-Богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланяясь и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

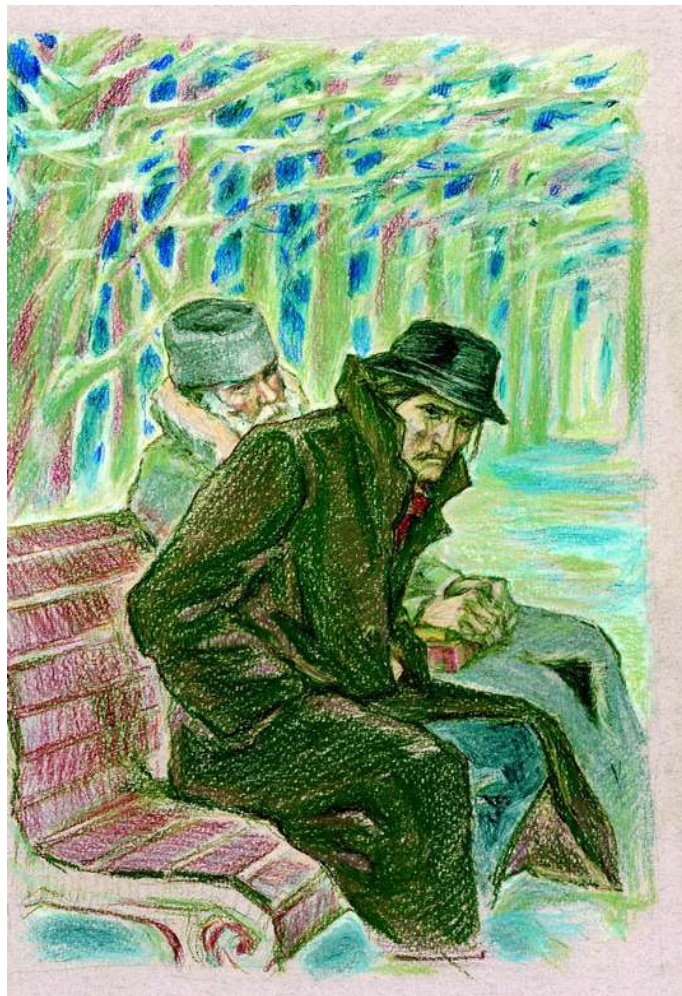
Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланяться, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.



Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, пересказал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливей и пристальней заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афро-

симова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господи! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

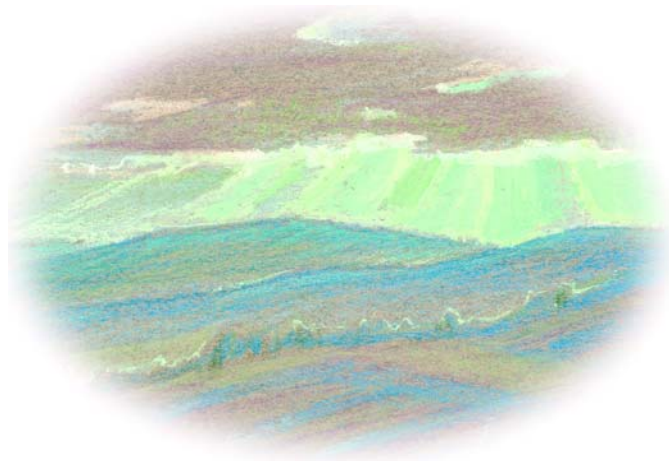
В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:



– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

И.А. Бунин Волхвы (из «Провансальских пересказов»)



«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему...»¹⁸

Старый провансальский поэт рассказывает, как они, детьми, встречали волхвов на зимней, пустынной Арльской дороге.

Он рассказывает приблизительно так:

– Дети, – говорили нам матери в канун праздника волхвов, – если вы хотите видеть их шествие к Младенцу Иисусу, идите скорей им навстречу: уже вечерет. И несите им какие-нибудь дары...

И вот мы бежим, бежим по большой дороге на Арль.

– Дети, куда это вы так спешите?

– Навстречу волхвам!

Мы бежим в наших провансальских колпачках, в маленьких деревянных сабо, с бьющимся от радости сердцем, жадно глядя в даль, в нашем воображении уже полную дивных видений, прижимая к груди наши дары: лепешки (для самих волхвов), сушеные фиги (для их слуг и рабов), пучки сена (для их верблюдов)... Свищет ветер, холодно. Зимнее солнце склоняется к Роне. Ручьи подернуты ледяной коркой, трава по их берегам померзла. Краснеют безлиственные ветки ив, по ним зябко прыгают красношейки... И ни души кругом – разве какая-нибудь бедная вдова с вязанкой сухого хвороста на голове или старик в лохмотьях, который шарит под колючим кустом: не попадет ли улитка?

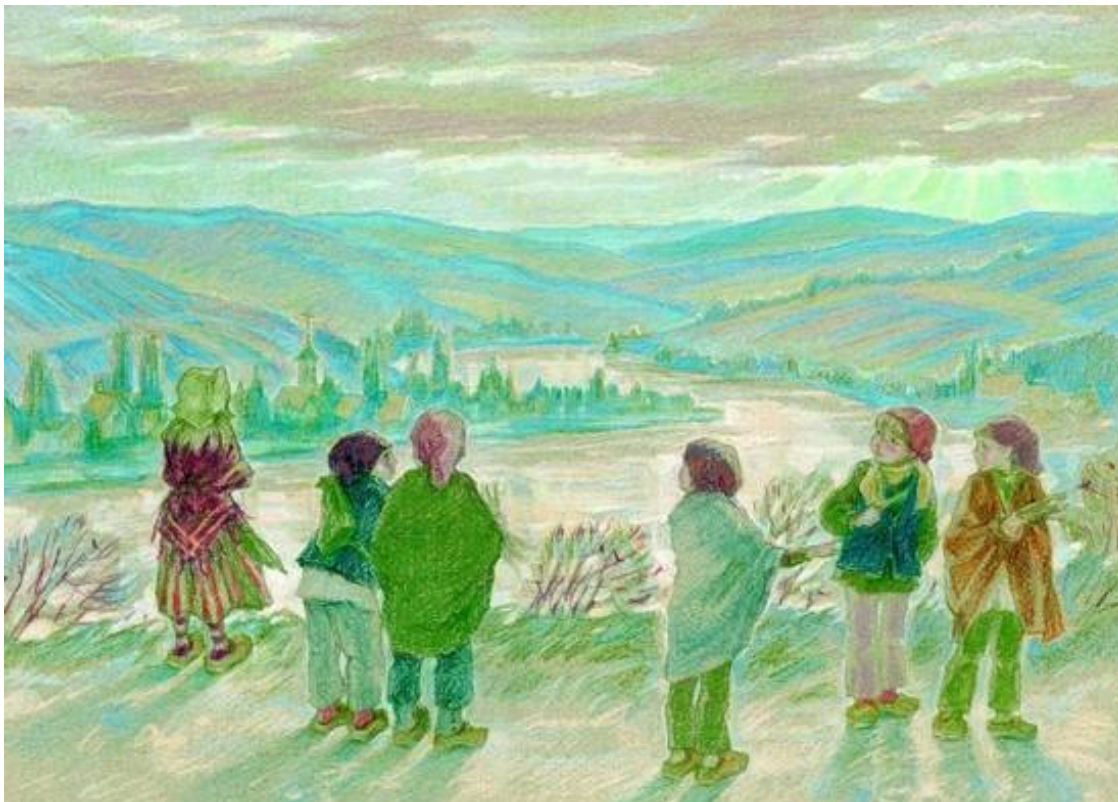
– Куда это вы, дети, так поздно?

– Навстречу волхвам!

И опять вперед, еще резвей и веселей, вприпрыжку, бегом – по бесконечно белеющей дороге, выметенной зимним ветром. Крик, песенки, смех, головки назад – совсем молодые петушки...

А день уже на исходе. Колоколенка Майана давно скрылась за черными остриями кипарисов, кругом только голая, пустая равнина. Мы зорко рыщем по ней глазами: ничего, кроме игольчатых клубков перекасти-поля, что мчит, крутит ветер по жнивью!

¹⁸ Евангелие от Матфея 2:1–2.



Впрочем, порой встречался какой-нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрепанный плащ, гнал домой свою отару.

– Дети, куда это вы в такую пору?

– Навстречу волхвам... Не можете ли сказать, они еще далеко?

– Навстречу волхвам? Ах да, правда, правда, нынче ведь канун их праздника... Они уже близко, вы их вот-вот встретите...

И опять вперед!

Но вот и совсем вечер. Солнце, преследуемое зимними облаками, спускается все ниже и ниже. Мы смолкаем, нам уже немножко жутко. Ветер еще резче дует навстречу, мы бежим уже не так резво... И вдруг:

– Вот они!

Из груди у нас всегда вырывался в этот миг безумнорадостный крик – и дивное, царственное великолепие ослепляло наши глаза: блеском, торжеством роскошнейших красок вдруг загорался запад. Там полосами пылал пурпур, золотом и рубином горел солнечный венец, раскидавший в зенит неба свои длинные зубцы-лучи...

– Волхвы! Волхвы! Видите венец, корону? Вон мантии, знамена! Вон кони и верблюды!

И мы замирали в изумленье, в восторге. Но не проходило и минуты, как все это великолепие, вся эта слава и роскошь гасли, исчезали, и мы снова, в большом разочаровании, оказывались одни, в сумерках, в поле.

– Где же они, где?

– Прошли за горами!

Стонала совка. Нас охватывал страх. Мы со страхом спешили назад, домой...

– Ну, что же, видели волхвов? – спрашивали нас дома.

– Нет... Они прошли далеко, за горами.

– А вы шли по какой дороге?

– По дороге в Арлатан.

– Ах, дурачки, дурачки! Там волхвов никогда не встретишь, нужно было идти по старой римской дороге... А если бы вы знали, что это за красота, когда они входят в Майан! Трубы, барабаны, слуги, рабы, верблюды... Теперь они уже в церкви, в вертепе, поклоняются Младенцу Иисусу. После ужина бегите скорей в церковь...

И мы наспех ужинали, бежали в церковь. Церковь была уже полна, блистала огнями алтаря, звездой, сиявшей над ним, и ярко озаренным вертепом, где волхвы в своих разноцветных мантиях – красной, синей и желтой – уже поклонялись Младенцу Иисусу, полагали перед Ним свои дары: Гаспар – золото, Мельхиор – ладан, Валтасар – смирну... И, как только мы входили, пробирались вперед между женских юбок, орган, сопровождаемый пением всех молящихся, медленно зачинал, а потом широко и грозно раскатывал свои мощные звуки величавый рождественский гимн:

*Нынче, в утренний час,
Встретил я на большой дороге
Караван трех великих волхвов...*

И.С. Шмелев Рождество (из повести «Лето Господне»)



Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего – подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он – редко, выпадет – и стаял. А у нас повалит – свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах – сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях – вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит – и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай – увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса... – вот радость!..

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженных свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалют, словно бревна, – мороженные свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило.

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь – рябчик? Пестренький такой, рябой... – ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется – дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелькой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас – обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупают красного товару, ситцу, – и домой, чугунок. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, – там лошадьми торговали, – стон стоит. А площадь эта... – как бы тебе сказать?... – да попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся – в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженные свиньи – как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает... – розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, – наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим:

на, разговейся! Перед свиной – поросичий ряд, на версту. А там – гусиный, куриный, утка, глухари-тетерки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, – большие сани, – везут-смеются. Горой навалят: поросят, свиной, солонины, баранины... Богато жили.

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок! А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аukaются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, – душисто, сладко. Стакан – копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, – пальцы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар – клубами, как из паровоза. Калачик – льдышка. Ну, помакаешь, помягчает. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо – в дыму – лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадет, наступишь – хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..

В сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы¹⁹... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто – дар Христу Ну... будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, с глухотой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церковей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пеня, без конца-начала... – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку башлычок, – мороз и не шиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огненные дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... – и почему-то видится кроватка, звезды.

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия миру свет разума...*

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет. На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жметяся. За мерзлым стеклышком – знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал

¹⁹ Шептала — сушеный персик.

недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь *туда*. Вот прийти бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со звездой путеше-эствуют!..»



Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы. А маленький я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься... Видишь – кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты спрашиваешь – впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И – на душе тепло, от счастья. Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем... Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет: «Выкормочек мой... растешь...» Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

*И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!*

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, – свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, – блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется – свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле – оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, – звездочки, в лесу как будто... А завтра!..

А вот и – завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклахросло буграми. Солнце над Барминихиным двором – в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сагюжниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке – картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, – свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.

– «Волхи же со Звездю питушествуют!» – весело говорит Зола.

*Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет...*

Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:

Рождество Твое, Христе Бо-же наш...

Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

– Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! – говорит Зола. – Сейчас будет святое приставление! – Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. – А кузнечонок у нас царь Ирод будет!

Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.

– Подымай меч выше! – кричит Зола. – А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:

*Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь – Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!*

Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

– Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладывают – не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечером спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крикают.

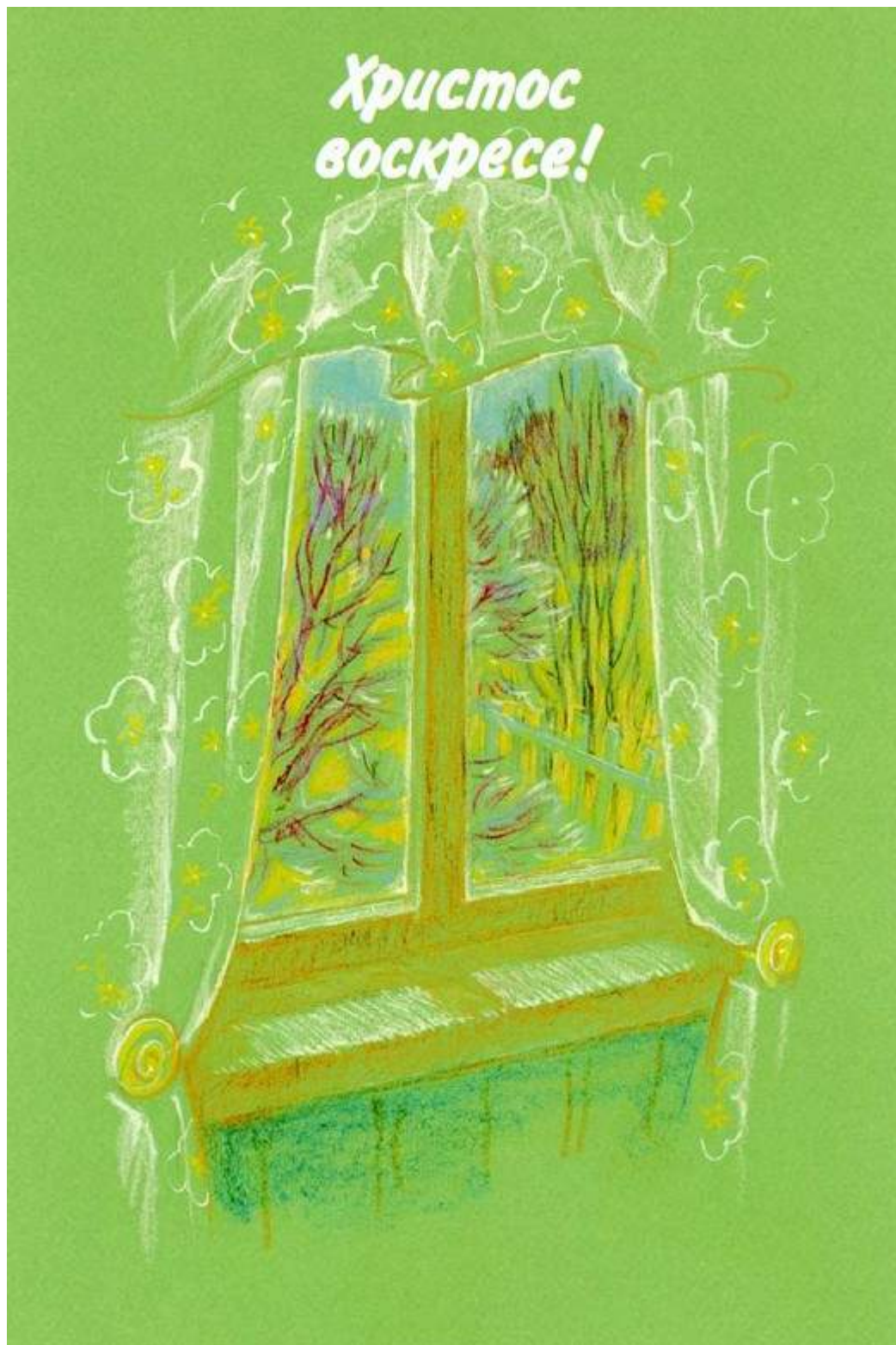
Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это – «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

– Береги шубы! – кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье... – должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними – звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.



С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» Первая весна в деревне



В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение.

Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челябинская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили коноплю; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молот уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и равнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими ста-

ницами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников... Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без переминок!» Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволения у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходящем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не выдавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой роши. Все берега пологие были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю: «привык», в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной.



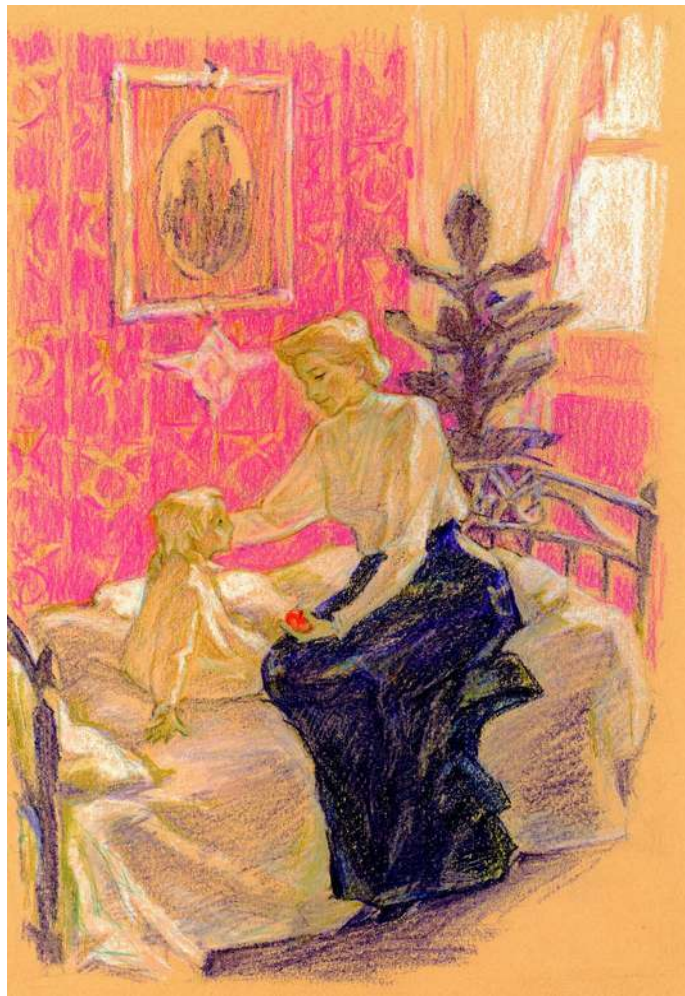
В Страстную Субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме Божиим Светлое Христово Воскресение. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале²⁰, в серпухе²¹ и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени Светлого Христова Воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так рав-

²⁰ *Сандал* – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.

²¹ *Серпуха* – желтая растительная краска для тканей.

нодушно переносила это лишение; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.

Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечи и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову Воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.



Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много ubyло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну Страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухю из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхю и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца...

Погода переменилась, и остальные дни Святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В

конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почувал в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.

А.П. Чехов СТУДЕНТ



Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливым лугом по тропинке. У него закохенели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо». Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи, кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них были точно такие же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь, Лукерья, маленькая, рябая, с туповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя к костру. – Здравствуйте! Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

– Не узнала, Бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная

улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

– Небось была на Двенадцати Евангелиях?

– Была, – ответила Василиса.

– Если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу: «С Тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». После Вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, невыспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как Его били...



Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

– Пришли к первосвященнику – продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», – то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил

слова, которые Он сказал ему на вечере... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие его рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе; если она заплакала, то, значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошрое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: едва дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только 22 года – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

В.А. Никифоров-Волгин Великая Суббота



В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолненных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:

– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба... Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь...

Я зашел к Гришке, чтобы и его позвать в церковь, но тот отказался:

– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос Плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще Плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У Плащаницы читали «часы», и на амвоне стояло много исповедников.

До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:

– Дивен Бог во святых Своих, – выкруглял он зернистые слова. – Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января... Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног Святого и как бы заплакала...

Что за притча? – думает Преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял Преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.

– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою»...

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всеобщее бдение – пением вечерних песен. Когда пропели «Свете Тихий», то к Плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение и Воскресение... Долгое чтение пророчеств закончилось высоким и протяжным пением:

– Господа пойте, и превозносите во вся веки...

Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском:

– Господа пойте, и превозносите во вся веки...

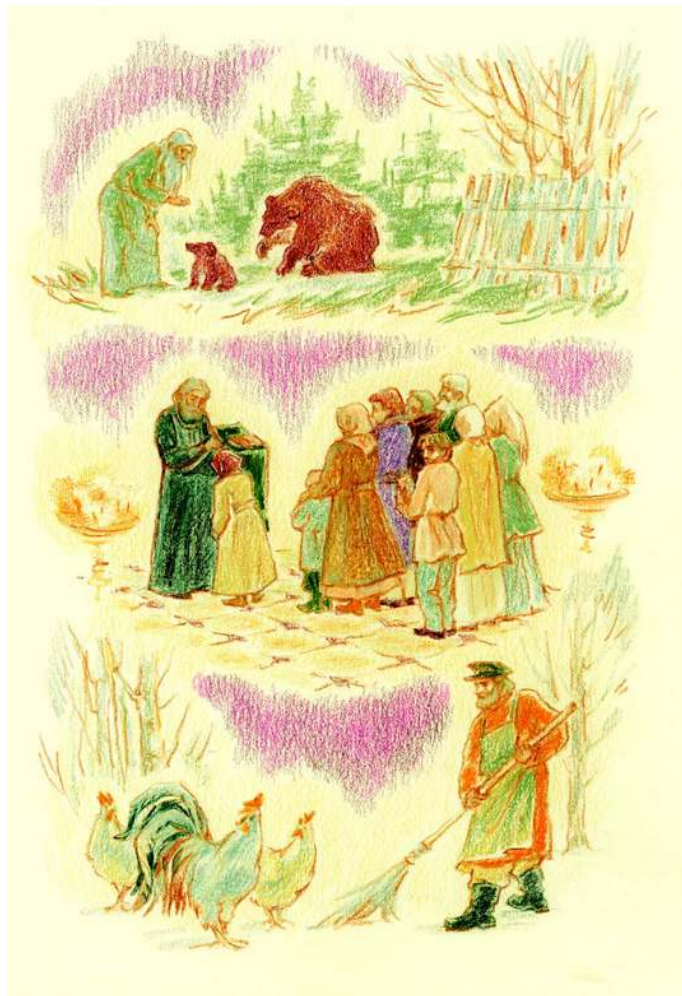
Несколько раз повторял хор эту песню, а чтец воскликнул сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».

*Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.*

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:

– Благословите звери!..

«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: «*Господа пойте, и превозносите во вся веки!*»



После чтения «Апостола» вышли к Плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели:

*«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследилши во всех
языцех».*

Во время пения духовенство в алтаре извлячало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери...

Как ни старался сдерживать восторг, ничего с собою поделывать не мог.

– Надо рассказать матери... сейчас же! Прибежал, запыхавшись, домой, и на пороге крикнул:

– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое... и вообще Пасха!

Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

*Да молчит всякая плоть человека
и да стоит со страхом и трепетом
и ничтоже земное
в себе да помышляет.*

*Царь бо царствующих
и Господь Господствующих
приходит заклатися
и датися в снедь верным...*

В.А. Никифоров-Волгин Светлая заутреня



Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть чело-
веча, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?

– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели
рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет.
Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами
упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка
требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

– Да... часы на Спасской башне... Пробьют, – и сразу же взвизывает к небу ракета... а
за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему, как
реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестольной, что ты словно не
ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подоб-
ная! Эй, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя?

– Перед глазами. Как живая...

– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепно-
стью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоже-
ный, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные деревья гля-
дят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из
окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После
заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс

речной воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке.

Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!

– *Хватит вам вечать-то*²², – перебила нас мать, – *выспались бы лучше, а то будете стоять на заутрене сонными!*²³

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?

– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?

– Умею.

– Ну, так начинай первым!

Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?

– Попробовать хотел!..

– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам²⁴, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю; благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскрес из мертвых...» Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши...

Время близилось к полуночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идет?

– Звонарь Александра! Сейчас грохнет!

И он грохнул...

²² *Вечать* – то есть совещаться, разговаривать.

²³ *Соньга* – сонный.

²⁴ *Остинка* – здесь иголка.

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилося, а когда прошел гуд его, покатилося другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня заметил в темноте нищий Яков.

– Светловещанный звон! – сказал он, и несколько раз перекрестился.

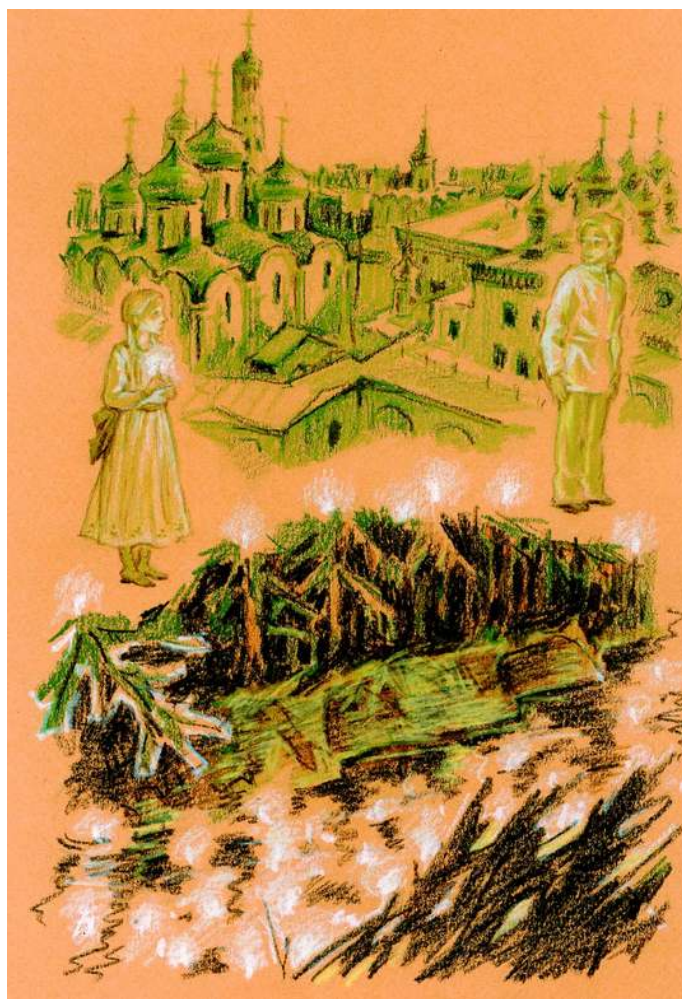
В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на Престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, – словно отваливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидел отца с матерью. Подошел к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул:

– Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.



Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси». И под эту воскреляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и

подумал: «так полагается» – Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос воскрес из мертвых».

Три раза пропели «Христос воскрес», и перед нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блесках серебра, золота и драгоценных камней на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, – вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с зябшимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос воскрес», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега – «Воистину воскрес».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос воскрес!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос воскрес!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное...»

Сердце мое зашло от радости, – около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись опустив глаза, я прошептал:

– Христос воскрес!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались... а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело Пасхальное Слово Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества... Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

И.С. Шмелев Пасха



Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом, – слышал их кучер, – а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопклонной маковые «кресты» – и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:

– Косого сюда позвать!..

Василь Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «Ну, ругайтесь... и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»

– Старший прикащик ты – или... что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!

– Сколько разов засыпал-с!.. – оглядывает Василь Василич лужу, словно впервые видит.

– И навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет – и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напускает?.. Спокон веку она такая, топлая... Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть...

Отец поглядит на лужу, махнет рукой.

Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним, до крыши, сгрызая сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, – а то сапоги изгадишь! – скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.

– Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.

Им поднесли по шкалику, они побрякали:

– Хороша-а... Крепше ледок скипится.

Прошел квартальный, велел мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами – до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым, веселым стуком.

В кухне под лестницей сидит серая гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и изгибает шею – хочет меня уклонуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, – обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу люблюсь ими: кружатся

тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные...

В булочных – белые колпачки на окнах с буквами – Х. В. Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «Принимаются заказы на куличи и пасхи и греческие бабы!» Бабы?.. И почему-то греческие! Василь Василич принес целое ведро живой рыбы – пескариков, налимов, – сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел, веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.

– Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!.. – И покрутил за щечку.

Василь Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли:

– Будь п-койны-с, подчаливаем... к Пасхе под Симоновом будут. Сейчас прямо из...

– Из кабака? Вижу.

– Никак нет-с, из этого... из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняка, двадцать сосны и елки, на крылах летят-с! И барки с лесом, и... А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе... у меня робята природные, жиздринцы!

Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.

– С Кремлем бы не подгадить... Хватит у нас стаканчиков?

– Тыщонок десять набрал-с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем-с. А как в приходе прикажете-с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом... не до лиминации!..

– Нонешнюю Пасху за две справим! Говорят про шиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки... про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.

– Истечение народа бу-дет!.. Приман к нашему приходу-с.

– Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо... понимаешь?

– Красную ему за глаза... пожару не наделаем! – весело говорит Василь Василич. – Запускать – так уж запускать-с!

– Думаю вот что... Крест на кумполе, кубастиками бы пунцовыми?..

– П-маю-с, зажгем-с. Высоконько только?..

Да для Божьего дела-с... воздаст-с! Как говорится, у Бога всего много.

– Щит на кресте крепить Ганьку-маляра пошлешь... на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.

– Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь п-койны-с, себя уберет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком... он, стало быть, за яблоко прицепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зацепится-захлестнется, в петельке сядет – и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало... на Христе Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.

Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду...» Я не могу понять: Авраам же мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с вербы в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.

На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для – Х. В. На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съезжены гармоньей. Называют его – «филенщик», за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.

– Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут...

Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копьё и лесенку – на небо! Потом удивительную птичку, потом буквы – Х. В. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.

– Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу... Станешь щи хлебать – глядишь, и вспомнишь.

Вот и вспомнил. И все-то они ушли...

Я несусь от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу – доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребнице, в коровнике...

– Он теперь никак при кресте не может. Спаси Христос... – крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. – Христос с тобой, матушка, не бойся... лежи себе.

Корова смотрит задумчиво и жуёт.

Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.

Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребнице, и везде. В черном крестике от моей свечки – пришел Христос. И все – для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни – страстные. Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями – и ничего, потому что везде Христос.

У Воронина на погребнице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решете. Золотистые червячки падают на блюдо, – совсем живые! Протирают все, в пять решет; пасох нам надо много. Для нас – самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом – для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две людям и еще – бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу. Василь Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит – ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики – всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь Василич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь – пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, – огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком... Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.

Ударяют печально, к Плащанице. Пугается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет... и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить... и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин, – «Иуда не-че-сти-и-вый... си-рибром помрачи-и-ися...» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.

Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой – и стукнется. Дух захватывает смотреть.

Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василь Василич кричит:

– Эй, не дури... ты! Стаканчики примамай!..

– Дава-ай!.. – орет Ганька, выделывая ногами штуки. Даже и квартальный смотрит.

Подкатывает отец на дрожках.

– Поживей, ребята! В Кремле нехватка... – торопит он и быстро взбирается на кровлю.

Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают корзины на веревках. Отец бегаёт по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит: «Давай!» Ему подвывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно.

– Готовааа!.. Примамай нитку-у!..

Сверкнул от креста комочек. Говорят – видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:

– Как трешницы-то отхватывают! Глядит на петлю, которая все качается.

– Это отсюда страшно, а там – как в креслах!

Он очень бледный. Идет, пошатываясь.

В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть – это только так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым – навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми Херувимами, лежит Спаситель, зелено-ватобледный, с пронзенными руками. Пахнет священной розами.

С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешены кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».

У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но кровать еще не постелили. Мне дают красить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок.

Горкин, который, пожалуй, умрет скоро... Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все... и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все мы встретимся т а м. И Горкин будет вырезать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница, в церкви, одна, горят лампы. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь Василич, и все наши ребята – все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде... Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червяка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца... дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос.

Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале

обои розовые – от солнца, оно заходит. В комнатах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах – новые красные «дорожки». В столовой на окошках – крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней – зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване – чтобы не провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.

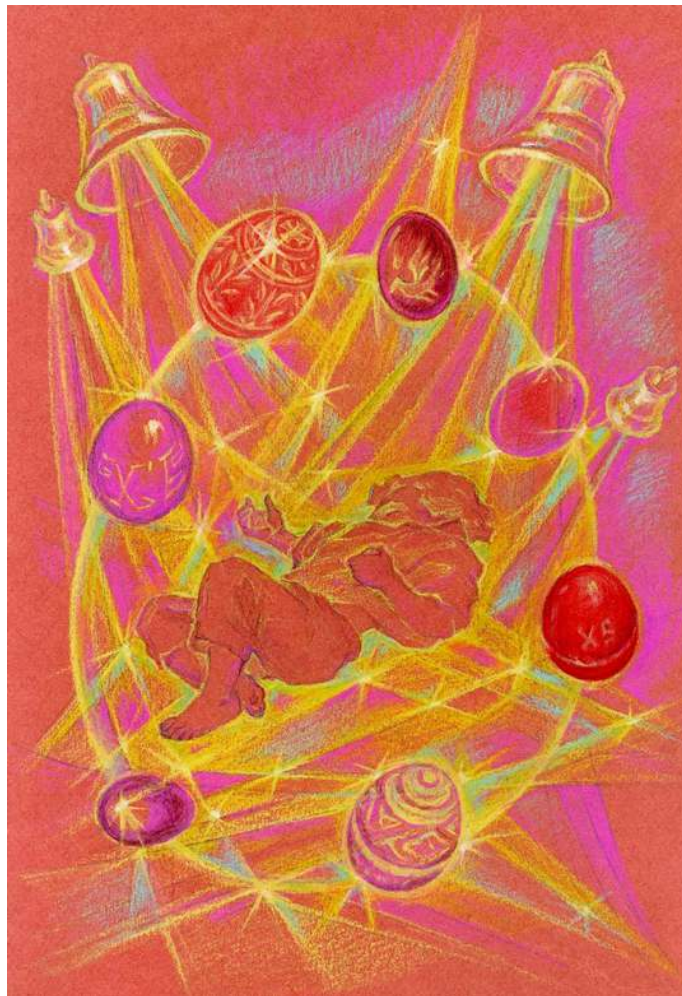
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега – повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня неожиданный шепот:

– Ты чего это не спишь, бродишь?..

Это отец. Он только что вернулся.

Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть и слушать, – другое все! – такое необыкновенное, святое.

Отец надевает летний пиджак и начинает опрашивать лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое, Христе Спасе... Ангели поют – на небеси...» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только одна, из детской – розовая, с белыми глазками, – ситцевая будто. Ну до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он тербит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым афонским маслом.



– А шел бы ты, братец, спать?

От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней или от подбравшейся с чего-то грусти – я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю... Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.

– А ну, пойдём-ка, штучку тебе одну...

Он несёт в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достаёт из стола... золотое яичко на цепочке!

– Возьмешь к заутрене, только не потеряй. А ну, открой-ка...

Я с трудом открываю ноготочком. Хруп – пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках – новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит...

– И устал же я, братец... а все дела. Сосни-ка лучше, поди, и я подремлю немножко.

О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами... И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумье голос:

Ангелы поют на не-бе-си-и...

Таинственный свет, святой. В зале лампадки только. На большом подносе – на нем я могу улечься – темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.

Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.

В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, – утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священо. Горкин берет меня за руку.

– Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь команду я с тобой.

Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.

– Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.

Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка – золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:

– Жди моего голоса! Как показался ход, скричу – вали! – запускай враз ракетки! Ты, Степа... Аким, Гриша... Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертная – с колокольни. Митя, тама ты?!

– Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!

– Фотогену на бочки налили?

– Все, враз засмолим!

– Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки... верти и верти во все! Апопсы сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи...

У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают – идет! Уже слышно:

...Ангели по-ют на небеси-и!..

– В-вали-и!.. – вскрикивает Горкин – и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.

– Кумпол-то, кумпол-то!.. – дергает меня Горкин.

Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет – Х. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени – кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...

– Ну, Христос воскрес... – нагибается ко мне радостный, милый Горкин.

Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.

...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..

Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.

И в Кремле удалось на славу Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь Василич рассказывает:

– Говорит – удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была... поддевку прожег! Митрополит даже ужасался... до чего было! Весь Кремль горел. А на Москве-реке... чисто днем!..

Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес...» – «Со светлым праздником»... Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся – плотники, народ русский, маляры – посуше, порыжее... плотогонны – широкие крепыши... тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи – каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.

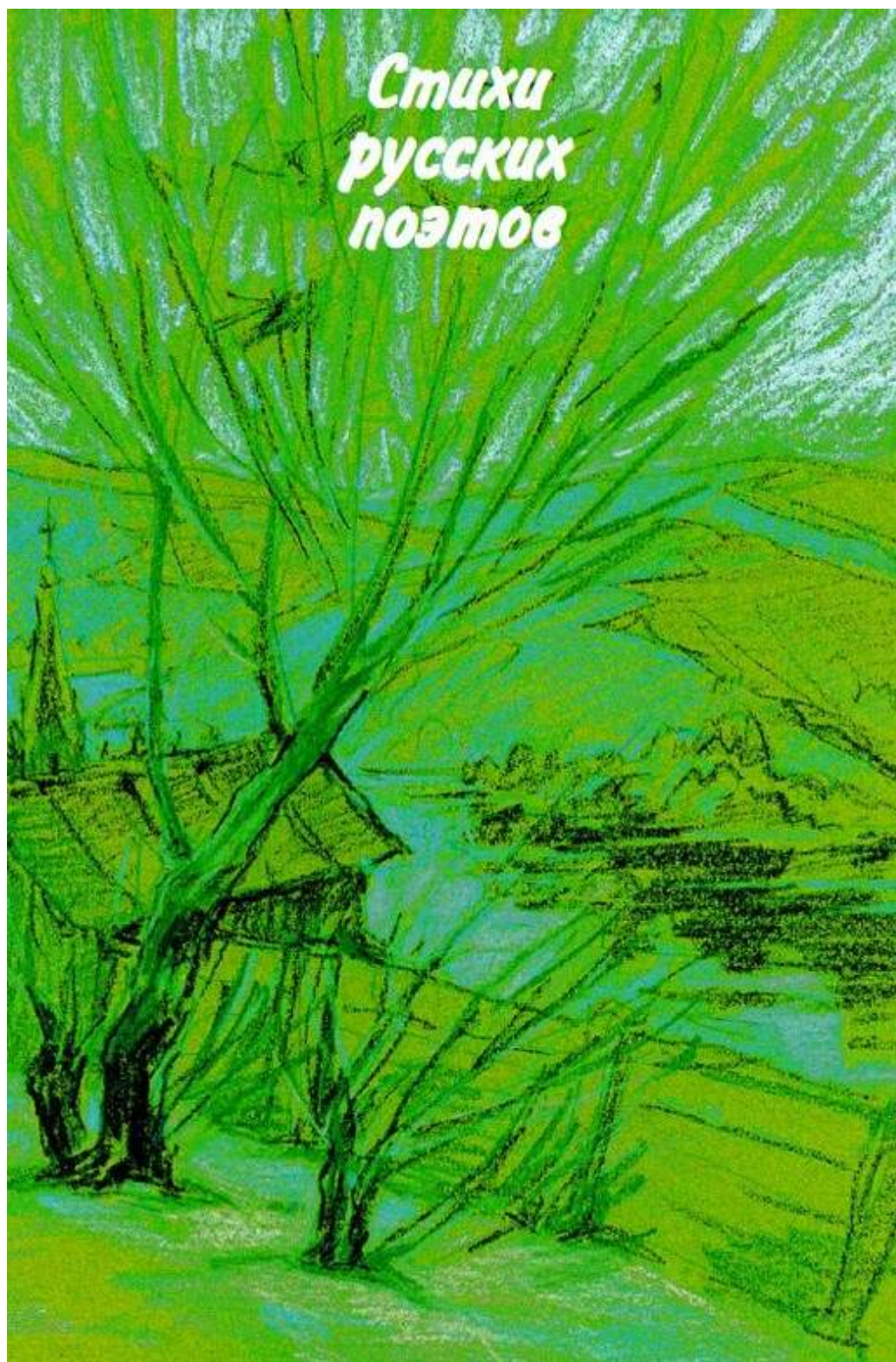
Угощение на дворе. Орудует Василь Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, – вот-вот запляшет.

Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы...

Трезвонны, перезвонны, красный-согласный звон. Пасха красная.

Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки – всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.

Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустальное-золотое, через него – все волшебное. Вот – с растягивающимся жирным червячком: у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-косяное... И вот, фарфоровое – отца. Чудесная панорамка в нем... За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах – и чудится мне, в цветах, – живое, неизъяснимо-радостное, святое... Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко – и усыпляющий перезвон качает меня во сне.



Стихи русских поэтов



Оптинский старец, преподобный Варсонофий Желание

Жаждой да грядет ко Мне и да лаает

Давно в душе моей желание таится, —
Все связи с миром суетным прервать,
Иную жизнь, – жизнь подвига начать:
В обитель иноков навеки удалиться,
Где мог бы я и плакать и молиться!
Избегнувши среды мятежной и суровой,
Безропотно нести там скорби и труды,
И жажду утолять духовной жизни новой,
Раскаянья принести достойные плоды,
И мужественно встать в победные ряды
Великой рати воинства Христова.

Александр Пушкин «Отцы пустынноики и жены непорочны...»

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлежать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Михаил Лермонтов Молитва

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Михаил Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..

Алексей Толстой «Благословляю вас, леса...»

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О если б мог в мои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

Алексей Толстой Благовест

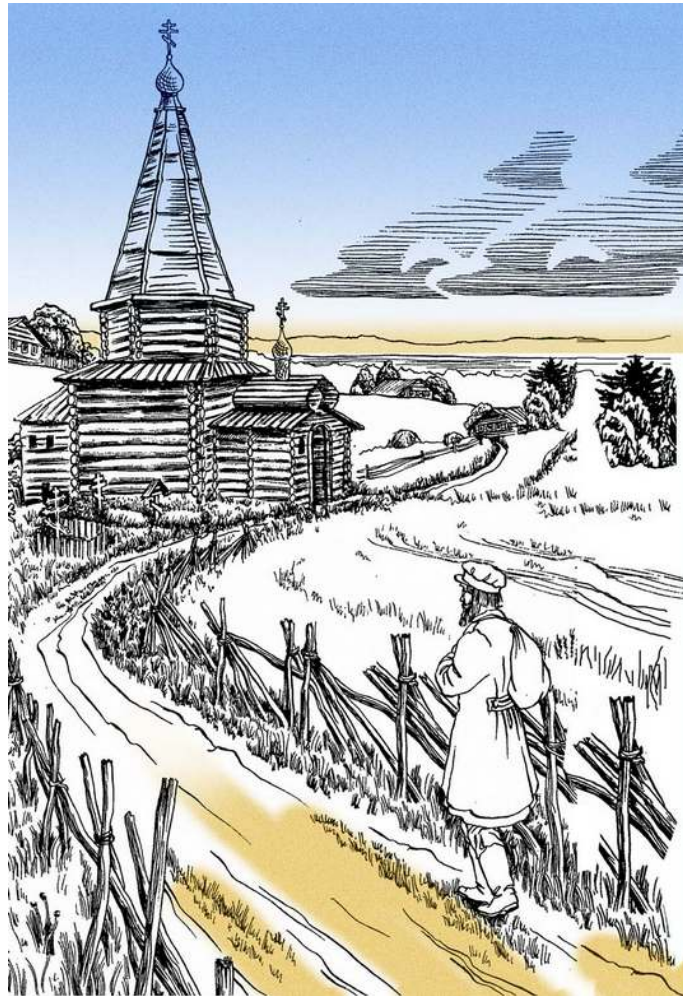
Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.

Их звон призывный
Через могилы
Гудит так дивно
И так уныло!

К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,

В край благодатный,
Забывтый мною, —
И, непонятной
Томим тоскою,

Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;



Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные.

И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает...

Иван Никитин Молитва дитяти

Молись, дитя, сомненья камень
Твоей туди не тяготит!
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовью горит.

Молись, дитя, тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, Ангел твой хранитель
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель
К Престолу Бога отнесет.

Молись, дитя, мужай с годами!
И дай Бог в пору поздних лет
Таковыми ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!

Но если жизнь тебя измучит,
И ум, и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит, —

Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с Небесами,
С самим собою и с людьми.

И вновь тогда из райской сени
Хранитель-Ангел твой сойдет,
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесет.

Федор Тютчев «О вещая душа моя!..»

О вещая душа моя!
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты – жилища двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые...
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Афанасий Фет

«Не первый год у этих мест...»

Не первый год у этих мест
Я в час вечерний проезжаю,
И каждый раз гляжу окрест
И над березами встречаю
Все тот же золоченый крест.

Среди зеленой густоты
Карнизов обветшалых пятна,
Внизу могилы и кресты,
И мне – мне кажется понятно,
Что шепчут куполу листья.

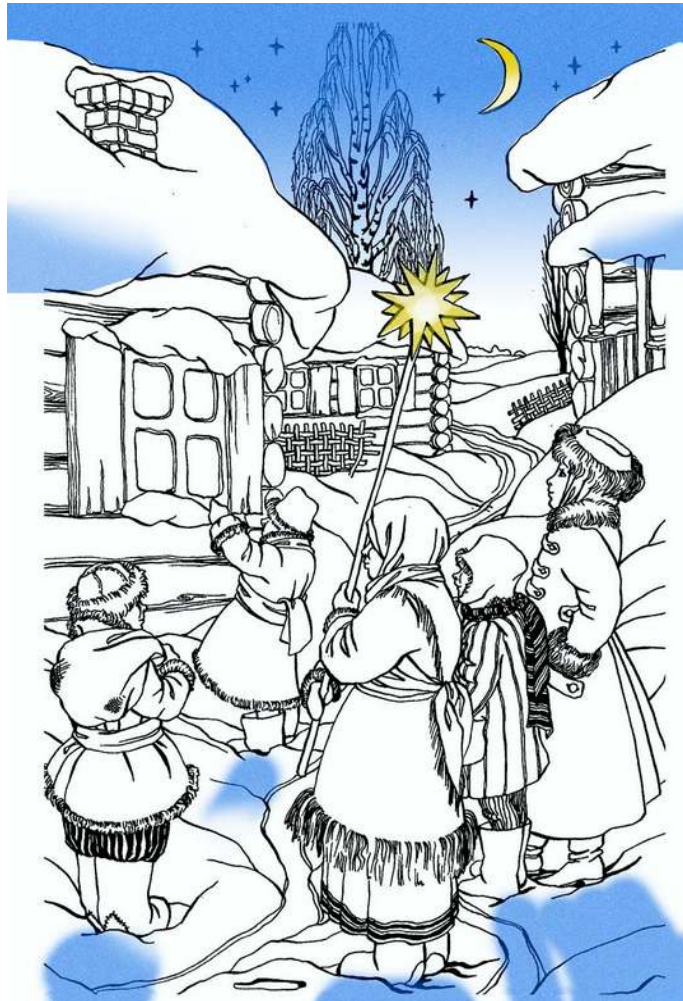
Еще колеблясь и дыша
Над дорогими мертвецами,
Стремлюсь куда-то, вдаль спеша,
Но встречу с тихими гробами
Смиренно празднует душа.

А. Коринфский Христославы

Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело...
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки горят;
на огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят.

Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы; Христославы!»
Раздается там и тут.

И в нестройном детском хоре,
так таинственно чиста,
так отрадна, весть святая
О рождении Христа...



Яков Полонский Пасхальные вест

Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные чащобы,
Тихие заплакали ключи...
На буграх камня обнажили
Лысины покрытые в мороз...
И на камни стали капать слезы
Злой зимой очищенных берез.

И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись – морями стали реки
И в горах пронесся первый гром.

Третья весть была необычайна:
Бог воскрес и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна...
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Странник (Архиепископ Иоанн Шаховской) «Мы безумно молимся подчас...»

Мы безумно молимся подчас
И хотим того, чего нельзя нам.
И душа идет у нас туманом,
Вера есть, а света нет у нас.

Ночь цветет последними огнями,
Утаясь меж бдением и сном.
Подари нам, Боже, это пламя,
Огненный язык в саду ночном.

Александр Блок «Мальчики да девочки...»

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня.
В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

Александр Блок «Был вечер поздний и багровый...»

Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.

И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.

Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искарюта
Улыбку видели гонцы.

Владислав Ходасевич Путем зерна

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всеми живущему идти путем зерна.

К.Р.
«Когда креста нести нет мочи...»

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умилением,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

К.Р. Хвала Воскресшему

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнет всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

Иван Бунин Бегство в Египет

По леса бежала Божья Мать,
Куньей шубкой запахнув Младенца,
Стлалось в небе Божье полотенце,
Чтобы Ей не сбиться, не плутать.

Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.

Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.

А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.

И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

Иван Бунин Михаил

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубках синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косою —
И снова народу являлся,
Большой, по колена босою.

Ребенок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил.

Иван Бунин «Христос воскрес! Опять с зарею...»

Христос воскрес! Опять с зарею
Редет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чаши бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

Владислав Ходасевич «Мечта моя! Из Вифлеемской дали...»

Мечта моя! Из Вифлеемской дали
Мне донеси дыханье тех минут,
Когда еще и пастухи не знали,
Какую весть им ангелы несут.

Все было там убого, скудно, просто:
Ночь; душный хлев; тяжелый храп быка.
В углу осел, замученный коростой,
Чесал о ясли впалые бока.

А в яслях... Нет, мечта моя, довольно:
Не искушай кощунственный язык!
Подумаю – и стыдно мне, и больно:
О чем, о чем он говорить привык!

Не мне сказать...

Владимир Набоков Овца

Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул – и было
Виденье между черных скал.



Иосиф, плотник бородатый,
Сжимал, как смуглые тиски,
Ладони, знавшие когда-то
Плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадю
Улыбку устремляла вниз,
Вся умиление, вся прохлада
Линялых синеватых риз.

А Он, младенец светлоокий
В венце из золотистых стрел,
Не видя матери, в потоки
Своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
По белизне и бубенцу
Я вдруг узнал, пастух ревнивый,
Свою пропавшую овцу.

Максимилиан Волошин Из поэмы «Владимирская Богоматерь»

Не на троне – на Ее руке,
левой ручкой обнимая шею,
Взор во взор, щеку прижав к щеке,
неотступно требует... Не мею —
Нет ни сил, ни слов на языке...
А Она в тревоге и печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где закат пожарами повит.
И такое скорбное волнение
В чистых девичьих чертах, что лик
В пламени молитвы каждый миг,
Как живой, меняет выражение...
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
И из всех высоких откровений,
Явленных искусству, Он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век,
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междоусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой над Русью вознесенный
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный...

Митрополит Владимир (Сабодан) Рождество

В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Осуждают новый закон.

И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неумоимо
Гладиаторам и слонам.

Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.

Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —
С галилейскими рыбаками
Образует Новый Завет.

Александр Солодовников Риза Господня

И в старину, и вчера, и сегодня
наша земля – это Риза Господня.

Благословенна земная плоть —
В тело земное облекся Господь.

Благословенно реки течение —
В реке совершалось Господне крещение.

Радуйся, поле зерна золотого, —
Хлебом является Тело Христово.

Радуйся, сок виноградной кисти, —
Вином изливается кровь Евхаристии.

Благословен синеокий лен —
Изо льна был соткан Господень хитон.

Благословенны земные цветы —
В них видел Христос венец красоты.

Благословенны малые дети —
Им первым обещано Царство в Завете.

Благословенны земные дороги —
По ним проходили Господни ноги.

Радуйтесь, птиц пернатые стаи, —
Сам Дух Святой голубкой витает.

И в мысли, что Дух проникает материю —
Нет ни язычества, ни суеверия.

Недаром Господь, исцеляя слепого —
Использовал брение праха земного.

И тяжко больных посылал не к врачам —
А только умыться водой в Силоам.

Доныне в тоске по целительной силе
Старушка песочек берет на могиле.

И глядя на лик чудотворной иконы —
Кладет с вздыханьем земные поклоны.

А мы припадаем к священным мощам —
От них как-то ближе к бессмертию нам.

Так будь же свята и блаженна земля —
Долины и горы, моря и поля!

И в старину, и вчера, и сегодня —
Земля наша – светлая Риза Господня!

Александр Солодовников У Плащаницы

Люблю часы, когда ложится
На землю ночь в Страстной Пяток.
В церквах мерцает Плащаница,
Апрельский воздух чист и строг.

И мнится: вокруг свечей струится
Неисчислимых душ поток,
Там их незримая светлица,
Им уготованный чертог.

Уснули ль маленькие дети,
Ушли ли скорбно старики —
Все царствуют в Христовом свете.

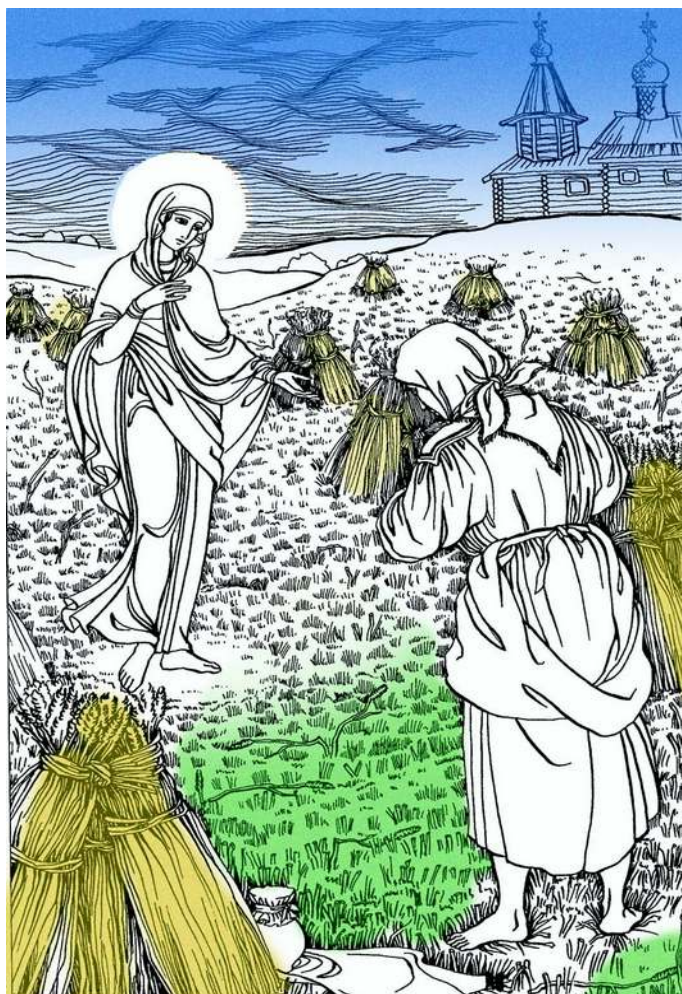
А здесь у нас: свистки, гудки,
Очередной набат в газете,
И только в сердце песнь тоски.

Григорий Зобин Рождество

Вот и скатерть на столе.
Нынче праздник на земле,
Тот, который нам сияет
Даже в самой смертной мгле.
Плещет древо за окном,
Будет песня, будет дом.
Будет горечь, будет радость —
Все мы с ним переживем.
Нынче вся земля светла,
И звонят колокола,
И ровнее бьется сердце,
И стройней звучит хвала.

В. Серебряков Жница Легенда

Бедная женщина хлеб убирала
на полосе в знойный день.
Остановилась, вздохнула устало:
«Хоть бы какая-то тень
пала на землю от маленькой тучи...
Сердце тревоги полно —
выгорит все от жары неминучей,
вытечет наземь зерно».
Женщина молится, женщина трудится.
«День бы иметь про запас.
Что же мне делать, Матерь Заступница,
завтра ведь Яблочный Спас?
В церковь хотела пойти помолиться,
детям плоды освятить...»



В праздник теперь мне придется трудиться,
жатву нельзя отложить».
Машет серпом. «Может, все же успею...»
Огненный стынет закат.
Слышится: жнет кто-то следом за нею,
только колосья шуршат.
Ей бы взглянуть – да никак... Торопливо
сделав последний свой срез,
жница застыла, на скошенной ниве
с нею – Царица Небес.
– Бог Меня выслал тебе на подмогу.
Радуйся, добрая мать,
завтра уже не работай, а Бог
у день постарайся отдать!
Жатвы окончено трудное дело.
Жница поблагодарить
искренно Деву Марию хотела
да не смогла говорить —
будто свело уста, кончились силы...
На облаков пьедестал
серп Богородица свой положила —
месяцем он заблистал.
И растворилась в луче серебристом.
В сумерках виделся свет.
Долго еще с полосы своей чистой
жница смотрела Ей вслед.

Евгений Санин **Крестное знамение**

Запомните, девочки,
Помните, мальчики,
Как правильно следует
 складывать пальчики:
Три пальца щепоткой,
Два пальца – к ладошке.
Смотрите, креститесь не понарошке!

Евгений Санин Молитва-подарок

Этот стих одна старушка
Прошептала мне на ушко.
Ей его дала монашка,
И учить его не тяжко:

«Господь – моя отрада,
Господь – Спаситель мой,
Избавь меня от ада,
И будь всегда со мной!»

Я его запомнил сразу,
То есть, с первого же разу,
Так его слова просты!
А с какого раза ты?

Геннадий Архипов **«Тихая осень. Над Оптиной – синее небо...»**

Тихая осень. Над Оптиной – синее небо.
Лица монахов настроены строго и свято.
Хлеба прошу я у Бога, насущного хлеба,
Хлеба насущного – из Гефсиманского сада.

В храме тепло – согревает акафист Предтече,
Волны распева нисходят на грешную душу.
Господи Боже! Спаси от мирского увечья!
Господи Святой, наставь на молитву послушно!

Светлый сентябрь врачует живительным блеском,
дух поднимает над кронами оптинских сосен;
Осень рисует свои монастырские фрески
там, где ходил по земле преподобный Амвросий.

Верую – мало единого страждущим хлеба,
тайно надеюсь на Богозаветное слово;
Словно ребенок, люблюсь на вечное небо,
Дабы сподобиться милости Духа Святого...

Сергей Кликов «Пылает за окном звезда...»

Пылает за окном звезда
Мигает огоньком лампада:
Так, значит, суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Невесть ушедшая куда.



Над колыбелью – тихий свет
И как не твой – припев баюнный...
И снег... и звезды – лисий след.
И месяц золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.

И жаль и больно мне спугнуть
С бровей знакомую излучку
И взять, как прежде, в руки – руку:

Прости ты мне земную муку,
Земную ж радость – не забудь!

Звезда – в окне, в углу – лампада,
И в колыбели – синий свет.
Поутру – стол и табурет.
Так, значит, суждено и – нет
Иного счастья, и не надо!..